

А.С. Макаренко

**Максим Горький в моей
жизни**

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 82-94
ББК 63.3-8
М15

Макаренко А.С.
М15 Максим Горький в моей жизни / А.С. Макаренко – М.: Книга по Требованию, 2021. – 360 с.

ISBN 978-5-458-03654-2

(1888-1939 гг.) - советский педагог. В связи с разработкой педагогической проблематики затрагивал в своих трудах ряд вопросов психологии, внося вклад в педагогическую и социальную психологию. Им была разработана концепция формирования личности в коллективе, взаимосвязь членов которого рассматривалась им как отношения 'ответственной зависимости'. Макаренко исследовал мотивационную сферу личности, механизмы формирования ее общественно ценных качеств, основную роль отводя формированию потребностей коллективиста: 'Нравственно оправданная потребность - это есть потребность коллективиста, то есть человека, связанного со своим коллективом единой целью движения, единством борьбы, живым и несомненным ощущением своего долга перед обществом' (Макаренко А. С. Соч. М., 1987. Т. 4. С. 34). Педагогические и психологические идеи нашли полное и продуктивное воплощение в практике возглавлявшихся им детских воспитательных учреждений. Работы Макаренко оказали значительное влияние на советскую детскую, педагогическую и социальную психологию, психологию личности ('Педагогическая поэма', 1933-1935; 'Флаги на башнях', 1938).

ISBN 978-5-458-03654-2

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2021
© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2021
© А.С. Макаренко, 2021

Макаренко Антон Семенович
Максим Горький в моей жизни

Антон Семенович Макаренко
МАКСИМ ГОРЬКИЙ В МОЕЙ ЖИЗНИ

В душливые годы перед японской войной в том захолустье, где прошла моя молодость, литературные явления замечались с большим опозданием. В городской библиотеке мы доставали истрепанных, без последних страниц Тургенева и Засодимского, а если и попадалось нам что-нибудь поновее, то это обязательно были или граф Салиас, или князь Волконский#1.

И тем ярче и ослепительнее прорезало нашу мглу непривычно простое и задорное имя: М а к с и м Г о р ь к и й.

В нашу глушь и это имя пришло с опозданием: я прочитал "Песню о Буревестнике" в 1903 г. Впрочем, я был тогда молод и не склонен был особенно тщательно разбираться в хронологии. Для нас, рабочей молодежи, важно было то, что по скучным, безнадежным российским дням вдруг заходил высокий, лохматый, уверенный новый человек Максим Горький. Мы с трудом добывали его книги. Еще с большим трудом мы старались понять, почему "Челкаш" забирает нас за живое. Ведь у нас не было литературных кружков, ведь даже Горький приходил к нам не в постоянном блеске человеческой культуры, как привычное наше явление, а только изредка и вдруг огненной стрелой резал наше серое небо, а после этого становилось еще темнее. Но мы уже не могли забыть об огненной стреле и мучительно старались понять, что мы увидели в мгновенном ее сверкании. Одной из таких молний был и "Челкаш". Трудно сейчас восстановить и описать тогдашнее наше впечатление от "Челкаша". Но нам уже было ясно, что Максим Горький не просто писатель, который написал рассказ для нашего развлечения, пусть и больше: для нашего развития, как тогда любили говорить. Мы чувствовали, что Максим Горький искренней и горячей рукой лезет в нашу душу и выворачивает ее наизнанку. И оказывается, что изнанка нашей души вовсе уж не такая плохая. Ибо с лицевой стороны на нашей душе много накопилось той гадости, которая, как потом оказалось, была крайне необходима для мирного прозябания Российской империи.

Разве мы все не были обречены переживать нищенские идеалы Гаврилы, разве в нашей жизни были какие-нибудь пути, кроме путей приблизительно Гаврилиных? Как-нибудь, на "крепкий грош" пристроиться на обочине жизни, равнодушно "завести коровку" и еще более равнодушно вместе с этой коровкой перебиваться с хлеба на квас... и так всю жизнь, и деять своим с христианским долготерпением и прочими формами идиотизма говорить ту же участь. На этой обочине жизни кишмя кипело такими Гаврилами - их было десятки миллионов.

А самая дорога жизни была предоставлена господам. Они мелькали мимо нас в каретах и колясках, блистали богатством, красивыми платьями и красивыми чувствами, но в общем мы редко видели их, большей частью видели только их лошадей, их кучеров, мелькающие спицы их экипажей да еще пыль, которую они поднимали. И жизни господ мы не знали, даже жизнь их лакеев и кучеров была для нас далекой, непонятной, "высшей" жизнью, такой же недоступной, как и та дорога, на обочинах которой мы копошились.

Мы привыкли к мысли, что обочина для нас неизбежна, что все проблемы жизни заключаются в том лишнем гроше, который нам удастся заработать или выпросить. В общем, это была мерзкая жизнь, и наибольшей мерзостью в ней

был конечно так называемый кусок хлеба. Это была та жизнь, которую мы научились по-настоящему ненавидеть только теперь, после Октября, несмотря даже на то, что "кусок хлеба" в первые годы революции часто бывал недоступной роскошью. Мы не умели ненавидеть и господ, мелькавших на дороге жизни, может быть, потому, что верили в их фатальную необходимость.

И вдруг на этой самой фешенебельной, прямой и гладкой дороге замаячил Челкаш. Его не стесняли никакие фатализмы, обычаи и правила, его не связывала никакая мода. "Он был в старых вытертых плисовых штанах, в грязной ситцевой рубаше с разорванным воротом, открывавшем его сухие и угловатые кости, обтянутые коричневой кожей".

И вот этот грязный оборванец, пьяница и вор обратился к нам с короткой речью и... назвал нашу жизнь гнусной. А когда мы швырнули в его голову камнем, он вывернул карманы и бросил нам все наворованные деньги, бросил потому, что презирал нас больше денег. И только тогда мы поняли, что наша жизнь действительно гнусная, что вся наша история сплошная мерзость и что пьяницы и воры имеют право называть нас нищими и высокомерно швырять нам наворованные деньги. Челкаш прошел мимо нас в блеске неожиданной молнии, и мы знали, что это идет тот, кто носит зазорное, гневное и уверенно близкое нам имя: Максим Горький.

Так началось новое мое сознание гражданина. Я не могу отделить его от имени Горького, и вместе со мной так чувствуют многие. На моих глазах задрожали вековые ночи Российской империи и неуверенно запутались вдруг старые испытанные человеческие пути.

И тот же чудесный бродяга, так мило показавший нам гнусность нашей жизни, тот же широконосый Максим Горький делался не только нашим укором, но и нашей радостью, когда весело и страстно сказал:

- Буря. Скоро грянет буря.

И буря действительно грянула. Российская история вдруг пошла вихрем, по новому закопошились Гаврилы, и уже трудно стало различать, где дорога, а где обочина. Господские экипажи заспешили в разные стороны, заматались за ними волны пыли, а скоро к ним прибавились и дымные волны пожарищ. Тысячами встали новые люди, так мало похожие на Гаврил, и впереди них были великаны, каких еще не знала наша история. Ударил вдруг по нашей земле целым скопом раздирающих молний 1905 год. Очень много интересных вещей полетело вдруг к черту в этой грозе; полетели "обожаемые государи" и "верные наши подданные", могильный покой и затхлость многих медвежьих углов, графы Салиасы и князья Волконские. Как туман, начало расплываться и исчезать квалифицированное невежество Гаврил. Пыльный занавес дворянского великолепия тоже заходил под ветром, и мы увидели, что есть большая человеческая культура и большая история. Мы уже не рылись в библиотечном шкафу, теперь новые книги каким-то чудом научились находить нас, настоящие новые книги, которые звали к борьбе и не боялись бури. И теперь уже близким и родным сделалось для нас по-прежнему зазорное, но теперь еще и мудрое имя: Максим Горький.

Все это прошло в дни моей юности. Батько мой был человеком старого стиля, он учил меня на медные деньги, впрочем, других у него и не было. Учили меня книги, в этом деле таким надежным для многих людей сделался пример Максима Горького: в моем культурном и нравственном росте он определил все.

Горький вплотную подошел к нашему человеческому и гражданскому бытию. Особенно после 1905 г. его деятельность, его книги и его удивительная жизнь сделалась источником наших размышлений и работы над собой.

Ни с чем не сравнимым по своему значению стало "На дне". Я и теперь считаю это произведение величайшим из всего творческого богатства Горького, и меня не поколебали в этом убеждении известные недавние высказывания Алексей Максимовича о своей пьесе. То, что Лука врет и утешает, разумеется, не может служить образцом поведения для нашего времени, но ведь никто никогда Луку и не принимал как пример; сила этого образа вовсе не в нравственной его величине. Едва ли было бы убедительнее, если бы Лука излагал программу социал-демократов большевиков и призывал обитателей ночлежки... к чему, собственно говоря, можно было их призывать? Я продолжаю думать, что "На дне" - совершеннейшая пьеса нового времени во всей мировой литературе. Я воспринял ее как трагедию и до сих пор так ее ощущаю, хотя на сцене ее трагические моменты, вероятно по недоразумению, затушеваны. Лукавый старец Лука с его водянистым бальзамом именно потому, что он ласков и бессилен, страшным образом подчеркивает обреченность, безнадежность всего ночлежного мира и сознательно ощущает ужас этой безнадежности. Лука - образ высокого напряжения, выраженный в исключительной силе противоречия между его мудрым безжалостным знанием и его не менее мудрой жалостной ласковостью. Это противоречие трагическое и само по себе способно оправдать пьесу. Но в пьесе звучит и другая, более трагическая линия, линия разрыва между той же безжалостной обреченностью и душевной человеческой прелестью забытых "в обществе" людей. Великий талант Максима Горького сказался в этой пьесе в нескольких разрезах и везде одинаково великолепен. Он блещет буквально в каждом слове, каждое слово здесь - произведение большого искусства, каждое вызывает мысль и эмоцию. Я вспоминаю руки Бубнова, руки, которые кажутся такими прекрасными в прошлом, когда они были грязными от работы, и такими жалкими теперь, когда они "просто грязные". Вспоминаю бессильный вопль Клеща: "Пристанища нету!" - и всегда ощущаю этот вопль как мой собственный протест против безобразного, преступного "общества". И то, что Горький показал ночлежку в полном уединении от прочего мира, у меня лично всегда вызывало представление как раз об этом "мире". Я всегда чувствовал за стенами ночлежки этот самый так называемый мир, слышал шум торговли, видел разряженных бар, болтающих интеллигентов, видел их дворцы и "квартиры"... и тем больше ненавидел все это, чем меньше об этом "мире" говорили жители ночлежки...

Мой товарищ Орлов#2, народный учитель, с которым я был на спектакле, выходя из театра, сказал мне:

- Надо этого старичка уложить в постель, напоить чаем, укрыть хорошенько, пускай отдыхает, а самому пойти громить всю эту... сволочь...

- Какую сволочь? - спросил я.

- Да вот всех, кто за это отвечает.

"На дне" прежде всего вызывает мысль об ответственности, иначе говоря, мысль об революции. "Сволочи" ощущаются в пьесе как живые образы. Вероятно, для меня это яснее, чем для многих людей, потому что вся моя последующая жизнь была посвящена тем людям, которые в старом мире обязательно кончали бы в ночлежке. А в новом мире... здесь невозможно никакое сравнение. В новом

мире лучшие деятели страны, за которыми идут миллионы, приезжают в комму-ну им. Дзержинского, бывшие кандидаты в ночлежку показывают им производ-ственные дворцы, пронизанные солнцем и счастьем спальни, гектары цветников и оранжерей, плутовато-дружески шурят глаза в улыбке и говорят:

- А знаете что, Павел Петрович?#3 Мы эту хризантему вам в машину поста-вим, честное слово, поставим. А только дома вы ее поливайте.

- Убирайтесь вы с вашей хризантемой, есть у меня время поливать...

- Э, нет, - возмущается уже несколько голосов, - раз вы к нам приехали, так слушайте. Понимаете, дисциплина...

Но так получается теперь, когда ответственность "общества" реализована в приговоре революции. А тогда получалось иначе. Предреволюционное мещан-ство хотело видеть в пьесе только босяков, бытовую картину, транспарант для умиления и точку отправления для житейской мудрости и для молитвы: "Благо-дарю тебя, господи, что я не такой, как они". Самое слово "босяки" сделалось удобным щитом для закрывания глаз на истинную сущность горьковской траге-дии, ибо в этом слове заключается некоторое целительное средство, в нем чув-ствуется осуждение и отграничение...

Максим Горький сделался для меня не только писателем, но и учителем жизни. А я был просто "народным учителем", и в моей работе нельзя было обойтись без Максима Горького. В железнодорожной школе, где я учительство-вал, воздух был несравненно чище, чем в других местах; рабочее, настоящее пролетарское общество крепко держало школу в своих руках, и "Союз русского народа" боялся к ней приближаться. Из этой школы вышло много большевиков#4.

И для меня и для моих учеников Максим Горький был организатором марк-систского мироощущения. Если понимание истории приходило к нам по другим путям, по путям большевистской пропаганды и революционных событий, по путям нашего бытия в особенности, то Горький учил нас ощущать эту историю, заражал нас ненавистью и страстью и еще большим уверенным оптимизмом, большой радостью требования: "Пусть сильнее грянет буря!"

Человеческий и писательский путь Горького был для нас еще и образцом поведения. В Горьком мы видели какие-то кусочки самих себя, может быть, даже бессознательно мы видели в нем прорыв нашего брата в недоступную для нас до сих пор большую культуру. За ним нужно было броситься всем, чтобы закрепить и расширить победу. И многие бросились, и многие помогли Горькому...

Бросился, конечно, и я. Мне казалось некоторое время, что это можно сделать только в форме литературной работы. В 1914 г. я написал рассказ под названием "Глупый день"#5 и послал Горькому. В рассказе я изобразил действительное событие: поп ревнует жену к учителю, и жена и учитель бояться попа; но попа заставляют служить молебен по случаю открытия "Сюза русского народа", и после этого поп чувствует, что он потерял власть над женой, потерял право на ревность и молодая жена приобрела право относиться к нему с презрением. Горький прислал мне собственноручное письмо, которое я и теперь помню слово в слово:

"Рассказ интерес по теме, но написан слабо, драматизм переживаний попа не ясен, не написан фон, а диалог неинтересен. Попробуйте написать что-нибудь другое".

М. Горький"

Меня мало утешило признание, что тема интересна. Я увидел, что и для писателя нужна большая техника, нужно что-то знать о фоне, нужно предъявлять какие-то требования к диалогу. И нужен еще талант; очевидно, с талантом у меня слабовато. Но сам Горький научил меня человеческой гордости, и я эту гордость пустил немедленно в дело. Я подумал, что можно, разумеется, "написать что-нибудь другое", но совершенно уже доказано, что ничего путного в этом другом заключаться не будет. Я без особого страдания отбросил писательские мечты, тем более, что и свою учительскую деятельность ставил очень высоко. Бороться в прорыве на культурном фронте можно было и в роли учителя. Горький даже порадовал меня своей товарищеской прямоотой, которой тоже ведь надо было учиться.

Учительская моя деятельность была более или менее удачна, а после Октября передо мной открылись невиданные перспективы. Мы, педагоги, тогда так опьянели от этих перспектив, что уже и себя не помнили, и, по правде сказать, много напутали в разных увлечениях. К счастью, в 20-м г. мне дали колонию для правонарушителей. Задача, стоявшая передо мною, была так трудна и так неотложна, что путать было некогда. Но и прямых нитей в моих руках не было. Старый опыт колоний малолетних преступников для меня не годится, нового опыта не было, книг тоже не было. Мое положение было очень тяжелым, почти безвыходным.

Я не мог найти никаких "научных" выходов. Я принужден был непосредственно обратиться к своим общим представлениям о человеке, а для меня это значило обратиться к Горькому. Мне, собственно говоря, не нужно было перечитывать его книг, я их хорошо знал, но снова перечитал все от начала до конца. И сейчас советую начинающему воспитателю читать книги Горького. Конечно, они не подскажут метода, не разрешат отдельных "текущих" вопросов, но они дадут большое знание о человеке не натуралистического, не списанного с натуры, а человека в великолепном обобщении и, что особенно важно, в обобщении марксистском.

Горьковский человек всегда в обществе, всегда видны его корни, он прежде всего социален, и, если он страдает или несчастен, всегда можно сказать, кто в этом виноват. Но не эти страдания главное. Можно, пожалуй, утверждать, что горьковские герои неохотно страдают, - и для нас, педагогов, это чрезвычайно важно. Я затрудняюсь это объяснить подробно, для этого необходимо специальное исследование. В этом случае решающим является горьковский оптимизм. Ведь он оптимист не только в том смысле, что видит впереди счастливое человечество, не только потому, что в буре находит счастье, но еще и потому, что каждый человек у него хорош. Хорош не в моральном и не в социальном смысле, а в смысле красоты и силы. Даже герои враждебного лагеря, даже самые настоящие "враги" Горьким так показаны, что ясно видны их человеческой силы и лучшие человеческие потенциалы. Горький прекрасно доказал, что капиталистическое общество губительно не только для пролетариев, но и для людей других классов, оно губительно для всех, для всего человечества. В Артамоновых, в Вассе Железновой, в Фоме Гордееве, в Егоре Булычове ясно видны все проклятья капитализма и прекрасные человеческие характеры, развращенные и исковерканные в наживе, в несправедливом властвовании, в неоправданной социальной

силе, в нетрудовом опыте.

Видеть хорошее в человеке всегда трудно. В живых будничных движениях людей, тем более в коллективе сколько-нибудь нездоровом, это хорошее видеть почти невозможно, оно слишком прикрито мелкой повседневной борьбой, оно теряется в текущих конфликтах. Хорошее в человеке приходится всегда проектировать, и педагог это обязан делать. Он обязан подходить к человеку с оптимистической гипотезой, пусть даже и с некоторым риском ошибиться. И вот этому умению проектировать в человеке лучшее, более сильное, более интересное нужно учиться у Горького. Особенно важно, что у Горького это умение далеко не так просто реализуется. Горький умеет видеть в человеке положительные силы, но он никогда не умиляется перед ними, никогда не понижает своего требования к человеку и никогда не остановится перед самым суровым осуждением.

Такое отношение к человеку есть отношение марксистское. Наш социализм, такой еще молодой, лучше всего доказывает это. Уже не подлежит сомнению, что средний моральный и политический уровень гражданина Советского Союза несравненно выше уровня подданного царской России и выше уровня среднего западноевропейского человека... Не подлежит сомнению, что причины этих изменений лежат в самой структуре общества и его деятельности, тем более что какой-нибудь специальной педагогической техники, специальных приемов у нас не выработалось. Переход к советскому строю сопровождался категорическим перенесением внимания личности на вопросы широкого государственного значения... Примеров искать не нужно, достаточно вспомнить японскую агрессию или стахановское движение. Личность в Советском Союзе не растрчивает своей силы в будничных текущих столкновениях, и поэтому виднее ее лучшие человеческие черты. Суть в том, что легче и свободнее реализуются положительные человеческие потенциалы, которые раньше не реализовались^{#6}. В этом величайшее значение нашей революции и величайшая заслуга Коммунистической партии.

Но сейчас все это понятно и очевидно, а тогда, в 1920 г., это значение у меня только начинало складываться, и, так как элементы социалистической педагогики еще не видны были в жизни, я находил их в мудрости и проникновенности Горького.

Я очень много передумал тогда над горьким. Это раздумье только в редких случаях приводило меня к формулировкам, я ничего не записывал и ничего не определял. Я просто смотрел и видел.

Я видел, что в сочетании горьковского оптимизма и требовательности есть "мудрость жизни", я чувствовал, с какой страстью Горький находит в человеке героическое, и как он любит скромность человеческого героизма, и как вырастает по-новому героическое в человечестве... ("Мать"). Я видел, как нетрудно человеку помочь, если подходить к нему без позы и "вплотную", и сколько трагедий рождается в жизни только потому, что "нет человека". Я, наконец, почти физически ощутил всю мерзость и гниль капиталистической накали на людях.

Я обратился к своим первым воспитанникам и постарался посмотреть на них глазами Горького. Признаюсь откровенно, это мне не сразу удалось; я еще не умел обобщать живые движения, я еще не научился видеть в человеческом пове-

дении основные оси и пружины. В своих поступках и действиях я еще не был "горьковцем", я был им только в своих стремлениях.

Но я уже добивался, чтобы моей колонии дали имя Горького, и добился этого. В этом моменте меня увлекала не только методика горьковского отношения к человеку, меня захватывала больше историческая параллель: революция поручила мне работу "на дне", и, естественно, вспоминалась "дно" Горького. Параллель эта, впрочем, ощущалась недолго. "Дно" принципиально было невозможно в Советской стране, и мои "горьковцы" очень скоро возымели настойчивое намерение не ограничиться простым всплыванием наверх, их соблазняли вершины гор, из горьковских героев больше других импонировал им Сокол. Дна, конечно, не было, но остался личный пример Горького, осталось его "Детство", осталась глубокая пролетарская родственность великого писателя и бывших правонарушителей.

В 1925 г. мы написали первое письмо в Сорренто, написали с очень малой надеждой на ответ - мало ли Горькому пишут. Но Горький ответил немедленно, предложил свою помощь, просил передать ребятам: "Скажите, что они живут в дни великого исторического значения".

Началась регулярная наша переписка. Она продолжалась непрерывно до июля 1928 г., когда Горький приехал в Союз и немедленно посетил колонию#7.

За эти три года колония выросла в крепкий боевой коллектив, сильно повысилась и его культура, и его общественное значение. Успехи колонии живо радовали Алексей Максимовича. Письма колонистов регулярно отправлялись в Италию в огромных конвертах, потому что Горькому каждый отряд писал отдельно, у каждого отряда были особенные дела, а отрядов было до тридцати. В своих ответах Алексей Максимович касался многих деталей отрядных писем и писал мне: "Очень волнуют меня милые письма колонистов..."

В это время колония добивалась перевода на новое место. Алексей Максимович горячо отзывался на наши планы и всегда предлагал свою помощь. Мы от этой помощи отказывались, так как по-горьковски не хотели обращаться к М а к с и м а Г о р ь к о г о в ходатая по нашим маленьким делам, да и колонистам необходимо было надеяться на силы своего коллектива. Наш переезд в Куряж был делом очень трудным и опасным, и Алексей Максимович вместе с нами радовался его благополучному завершению. Я привожу полностью его письмо, написанное через 20 дней после "завоевания Куряжа":

"Сердечно поздравляю Вас и прошу поздравить колонию с переездом на новое место.

Новых сил, душевной бодрости, веры в свое дело желаю вам всем!

Прекрасное дело делаете Вы, превосходные плоды должно дать оно.

Земля эта - поистине наша земля. Это мы сделали ее плодородной, мы украсили ее городами, избороздили дорогами, создали на ней всевозможные чудеса, мы, люди, в прошлом - ничтожные кусочки бесформенной и немой материи, затем - полузвери, а ныне - смелые зачинатели новой жизни.

Будьте здоровы и уважайте друг друга, не забывая, что в каждом человеке скрыта мудрая сила строителя и что нужно ей дать волю развиваться и расцвести, чтобы она обогатила землю еще большими чудесами.

Сорренто, 3.6.26 Привет. М. Горький"

Это письмо, как и многие другие письма этого периода, имели для меня как

педагога совершенно особое значение. Оно поддерживало меня в неравной борьбе, которая к этому времени разгорелась по поводу метода колонии им. Горького. Эта борьба происходила не только в моей колонии, но здесь она была острее благодаря тому, что в моей работе наиболее ярко звучали противоречия между социально-педагогической и педологической точками зрения. Последняя выступала от имени марксизма, и нужно было много мужества, чтобы этому не верить, чтобы большому авторитету "признанной" науки противопоставить свой сравнительно узкий опыт. А так как опыт протекал в обстановке повседневной "каторги", то нелегко было проверить собственные синтезы. С присущей ему щедростью Горький подсказывал мне широкие социалистические обобщения. После его писем у меня удесстерились и энергия и вера. Я уже не говорю о том, что письма эти, прочитанные колонистам, делали буквально чудеса, ведь не так просто человеку увидеть в себе самом "мудрые силы строителя".

Великий писатель Максим Горький становится в нашей колонии активным участником нашей борьбы, становится живым человеком в наши ряды. Только в это время я многое до конца понял и до конца сформулировал в своем педагогическом кредо. Но мое глубочайшее уважение и любовь к Горькому, моя тревога о его здоровье не позволяли мне решительно втянуть Алексея Максимовича в мою педагогическую возню с врагами. Я все больше и больше старался, чтобы эта возня по возможности проходила мимо его нервов. Алексей Максимович каким-то чудом заметил линию моего поведения по отношению к нему. В письме от 17 марта 1927 г. он писал:

"Это напрасно! Знали бы Вы, как мало считаются с этим многие мои корреспонденты и с какими просьбами обращаются ко мне! Один просил выслать ему в Харбин - в Маньчжурию - пианино, другой спрашивает, какая фабрика в Италии вырабатывает лучшие краски, спрашивают, водится ли в Тирренском море белуга, в какой срок вызревают апельсины, и т.д., и т.д."

И в письме от 9 мая 1928 г.:

"Позвольте дружески упрекнуть Вас: напрасно Вы не хотите научить меня, как и чем мог бы я Вам и колонии помочь. Вашу гордость борца за свое дело я также понимаю, очень понимаю! Но ведь дело это как-то связано со мною, и стыдно, неловко мне оставаться пассивным в те дни, когда оно требует помощи"...

Когда Алексей Максимович приехал в июле 1928 г. в колонию и прожил в ней три дня, когда уже был решен вопрос о моем уходе и, следовательно, и вопрос о "педологических" реформах в колонии, я не сказал об этом моему гостю. При нем приехал в колонию один из видных деятелей Наркомпроса и предложил мне сделать "минимальные" уступки в моей системе. Я познакомил его с Алексеем Максимовичем. Они мирно поговорили о ребятах, посидели за стаканом чаю, и посетитель уехал. Провожая его, я просил принять уверения, что никаких, даже минимальных, уступок быть не может.

Эти дни были самыми счастливыми днями и в моей жизни, и в жизни ребят... Я, между прочим, считал, что Алексей Максимович - гость колонистов, а не мой, поэтому старался, чтобы его общение с колонистами было наиболее тесным и радужным. Но по вечерам, когда ребята отправлялись на покой, мне удавалось побывать с Алексеем Максимовичем в близкой беседе. Беседа касалась, разумеется, тем педагогических. Я был страшно рад, что все коллективные наши наход-